

ЖИЗНЬ ИСКУССТВА

ЛГ



12

АРТ. БЕРЛИНСКОГО ТЕАТРА МАКСА РЕЙНГАРДА
АЛЕКСАНДР МОИССИ.

1924

ЛЕНИНГРАД
МОСКВА

Новый Чехов.

Замечательное эпистолярное наследие, оставленное Чеховым, пополняется еще целым томом неизданных писем: это письма Антоны Павловича к его жене О. Л. Книппер-Чеховой. Из этой огромной переписки (в новый том вошло около *пятисот* писем Чехова) только 23 письма к Книппер опубликованы в известном 6-ти томном собрании писем Чехова под редакцией М. П. Чеховой.

Таким образом, новый сборник является, в полном смысле слова, настоящим сюрпризом. К величайшему сожалению, письма эти выходят за рубежом,—в заграничном издании, и нет уверенности в том, что они дойдут до нас.

Мне довелось познакомиться с ними уже в сверстанном виде: томик—огромной значимости; письма вскрывают так много глубокого и важного в истории жизни и творчества Чехова, что поистине, будет настоящим уроном для всех исследователей, если не дойдут они до России!

Прежде всего *основная тема*—основное содержание писем—по новому освещает самые глубокие стороны чеховской природы: *любознательную лирику*. Это прежде всего—письма любви, признания в любви...

Перед нами в этих пятистах письмах, записках, телеграммах—вся история любви Чехова, его роман, такой интимный, волнующий, лирический. Но и в этой лирике так много, я бы сказал, какой-то целомудренной сдержанности, боязни хоть одним словом показаться излишне экальтивированным, театральным.

Отвечая на упреки Ольги Леонардовны в некоторой сдержанности, которую можно, пожалуй, принять за черствость сердца, Чехов говорит: „по письму твоему судя в общем, ты хочешь и ждешь какого-то объяснения, какого-то длинного разговора, с серьезными лицами, с серьезными последствиями, а я не знаю, что сказать тебе, кроме одного, что я уже говорил тебе 1000 раз и буду говорить вероятно еще долго, т. е. что я тебя люблю и больше ничего. Если мы теперь не вместе, то виноват в этом не я и не ты, а бес, вложивший в меня бацилл, а в тебя любовь к искусству“ (27 сентября 1900 г.).

И если вдуматься, то станет ясным, что Чехов, в которого „бес“ действительно вложил бацилл чахотки, переживал мучительнейшую трагедию: оторванный от Москвы, нежно любимой, от литературы, от искусства, загнанный в Ялту, чувствуя себя в ней все время, как в ссылке на „Чертовом острове“, Чехов должен был пройти и еще через одно горчайшее испытание—оторваться от любимой женщины, жить в постоянной разлуке с нею, наездами, урывками, обманывая врачей и самого себя, наезжать в Москву, что было очевидно губительно для его легких. После двух-трех недель радости—возвращаться снова в Ялту и снова томиться и снова тосковать. Необычайно чуткий, возвышенно деликатный, он слишком хорошо понимал, каким бы было лишением для жены в свою очередь оторваться от любимого дела, уйти из Художественного театра. И каждый раз, когда заговаривает в своих письмах Ольга Леонардовна о том, что она бросит

сцену и переедет в Ялту, он убеждает ее не делать этого, утешая, что здоровье его поправляется, что скоро, все равно, они будут вместе, так как доктора, вероятно, позволят провести ему целую зиму в Москве, а там наступит лето, и можно будет поехать в Швейцарию, в Алжир, в Италию...

Мечты о путешествии в далекие страны, тоска по бродяжничеству не покидают его.

Эти письма, датированные 1901-1904 годами, насыщены такой бодростью духа, такой великой стойкостью к испытаниям судьбы, таким мужеством и терпением, такой верой в лучшее будущее, такой любовью к жизни, и жадной жизнью, что легенда о чеховском пессимизме, эти стертые, как расхожая медная монета, рассуждения о чеховском нытье, должны теперь, когда мы имеем в своем распоряжении самые интимные признания самого Чехова, рассеяться окончательно.

„Умница ты моя, нам бы с тобою хоть пять годочков пожить, а там пускай спаает старость; все-таки, в самом деле, были бы воспоминания!“ (26 декабря 1900 г.), — восклицает Чехов. И только в одном месте переписки звучит нотка даже не печали, а скорее сожаления о том, что молодость прошла, что настала болезнь, что держит она в цепком своем плену: отвечая жене на ее письмо, в котором она пишет, что веселилась на вечеринке у знакомых и была в „подпитии“, у Чехова вырывается: „ах, дуся, как я тебе завидую, если бы знала, завидую твоей бодрости, свежести, твоему здоровью, настроению, завидую, что тебе не мешают пить никакие соображения на счет кровохарканья и т. п.,—я прежде мог выпить, как говорится, здорово!“

„Нам бы хоть пять годочков пожить“, — пожелали меньше—всего *три года*. А глубокое и верное чувство крепло в нем с каждым годом. „Сегодня, дуся, мой, ровно три месяца, как мы повенчались. Я был счастлив. Спасибо тебе, моя радость, целую тебя тысячу раз“ (25 августа 1901 г.).

Разумеется, письма драгоценны не только этой лирикой любви: в них огромное богатство содержания, раскрывающее чрезвычайно многое в Чехове. Я уже не говорю о замечательных, во множестве рассеянных блестящих чеховского юмора, но в письмах много и метких литературных характеристик. Он за эти годы своего заточения в Ялте перечитывает классиков. По просьбе Художественного театра, подыскивая подходящие для его репертуара пьесы, он вновь подходит к Тургеневу: „Месяц в деревне“ мне весьма не понравился. Пьеса устарела. „Нахлебник“ сделан недурно. „Где тонко, там и рвется“ написано в те времена, когда на лучших писателях было еще сильно заметно влияние Байрона и Лермонтова с его Печориным. Горский тот же Печорин. Жидковатый и пошловатый, но все же Печорин“. „На всякого мудреца довольно простоты“ Островского кажется Чехову „руссифицированным Тартюфом“; это „крымское бордо“.

Москва.

ЮРИЙ СОБОЛЕВ.

(Продолжение следует).